

**ОСКОЛКИ ВОЕННОЙ ПАМЯТИ:
«ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ТАКОГО УЖАСА?»¹**

Светлана Алексиевич. *Последние свидетели: соло для детского голоса. М.: Время, 2007. — 304 с.*

1

Свидетельское восприятие войны — процесс не прямой и не очевидный. В своих воспоминаниях о Первой мировой Виктор Шкловский, например, настойчиво подчеркивал несоответствие понятия «быть на линии фронта» и фактического опыта фронтовой жизни. Окопнику из траншеи, писал Шкловский, как правило, не видно даже противника, «а только зимой — снег, летом — стебли травы». «Передовая» в итоге становилась опытом «оторванности» и «заброшенности»². Отсутствие общей картины (войны) если не компенсировалось, то, по крайней мере, вытеснялось, подробностью деталей.

Преобладание «стеблей» (окопной правды) в описании войны связано, разумеется, не только с физической ограниченностью точки зрения. Многочисленные исследования военных мемуаров прослеживают еще одну тенденцию в восприятии войны очевидцами — их способность «не видеть», то есть не фиксировать и не артикулировать, переживаемый опыт насилия. Существующие объяснения причин подобного «вытеснения», впрочем, имеют принципиально различный характер. Например, историк Катрин Мерридейл в недавнем исследовании воспоминаний ветеранов о Великой Отечественной отмечает поразительную способность участников войны четко «знать то, какой должна была быть их война (they knew the way they liked their war to be), знать... то, как сделать память безопасной, как рассеять пережитый совместно ужас» и как выстроить свою послевоенную жизнь, согласно принятому сценарию войны³. Психолог Джудит Херман связывает причины вытеснения и подавления военной памяти с давлением общества, не испытавшего (и не желающего испытывать) опыт насилия: так, ветераны Первой мировой, вернувшись домой, с горечью описывали свой военный опыт как то, что подлежит «великому умолчанию» на публике (Great Unmentionable)⁴. В свою очередь, сами ветераны разных войн из разных стран связывают причины «закрытости» своего военного опыта со спецификой этого опыта, с его невыразимостью и непередаваемостью. Участник военных событий в Чечне, например, использует такой эпиграф в своем боевом журнале: «Мы приобрели здесь [на войне. — С.У.] самых верных друзей — кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот нас уже никогда не поймет...»⁵ Почти дословные повторения этой идеи можно найти и в воспоминаниях американских ветеранов войны в Корее, и у участников военных событий в Мозамбике, и у солдат мировых войн. Семиотика войны оказывается здесь неотделимой от аффективной памяти о войне: чтобы понять военный опыт, его нужно пережить самому.

Осколочность зрения, обрывочность восприятия, несвязанность памяти, непередаваемость опыта становятся в итоге и своеобразным отражением раздробленного характера самих военных переживаний, и символическими попытками «рассеять» продолжающееся воздействие военной жизни в мирных условиях. «Стебли травы», значимые (и не очень) детали, таким образом, оказываются вынужденным способом символизации поля боя, поэтическим приемом, с помощью которого частичная интеграция военного опыта в послевоенную память и жизнь становится возможной. Исследователи поэзии ветеранов вьетнамской войны давно подметили, что поэтическая фрагментация синтаксиса и нарратива (*fragging*) стала основным приемом, с помощью которого американские поэты-ветераны попытались вернуть себе в 1970-х годах власть над языком и сюжетным оформлением войны, монополизованными официальным дискурсом⁶. История термина, впрочем, делает очевидной и еще одну — защитную — функцию этого поэтического приема и культурного жеста. Во время войны во Вьетнаме термин *fragging* использовался для описания акта самозащиты, в ходе которого солдаты с помощью осколочной гранаты (*fragmentation grenade*) избавлялись от некомпетентного и опасного командира, не берегущего жизни своих подчиненных⁷.

2

Вне зависимости от терапевтических, социальных или политических причин, оказавшихся в основании режимов «ограниченной оптики» и поэтики фрагментации, эта осколочность восприятия войны ветеранами с неизбежностью приводит к тому, что наиболее яркие и убедительные репрезентации войны нередко принадлежат тем, для кого насилие не утратило своей чрезвычайности. Тем, для кого военные действия — в силу маргинальной вовлеченности или элементарной возрастной дистанцированности — так и не стали повседневной рутинной⁸. Собственно, осознание этой тенденции во многом и способствовало тому, что в последние два десятилетия в отечественных и зарубежных исследованиях памяти о войне наметился определенный уход от традиционного стремления отождествлять воспоминания о войне с воспоминаниями собственно военных — будь то командный состав или рядовые солдаты⁹.

Работы Светланы Алексиевич во многом формируют основы этого нового восприятия войны — восприятия, в котором социальные иерархии и особенности биографий свидетелей сознательно выводятся за рамки повествования. В фокусе, в итоге, остается сухой остаток военного опыта: иногда лишь цитата, образ или событие. Чаще — небольшой рассказ, обрывок воспоминания. Подчеркнуто фрагментарные, принципиально разрозненные, эти осколки «голосов утопии», как их называет сама Алексиевич, не сливаются в единый хор. «Общей» картины здесь не возникает; в центре внимания по-прежнему остаются лишь «стебли травы», увиденные одиночками. Может быть,

именно поэтому книга «Последние свидетели» имеет подзаголовок: «Соло для детского голоса».

Известная своими коллекциями «голосов» — будь то женщины Великой Отечественной войны, участники войны в Афганистане или пострадавшие от аварии в Чернобыле, — в «Последних свидетелях» Алексиевич наглядно показывает, что работа с чужой памятью требует желаний, возможности и способности исследователя отслоить «общие места» и расхожие цитаты для того, чтобы добраться до сердцевины уникального травматического опыта. Голоса, звучащие в книгах Алексиевич, подтверждают еще раз известный исследовательский вывод: цитаты и клише, заимствованные из фильмов, песен и/или книг и «встроенные» в память очевидцев, есть лишь начальный этап, есть лишь *условие доступа* исследователя к сознанию и воспоминаниям собеседника¹⁰. Образы, истории, события, которые Алексиевич делает доступными, предельно четко обнажают теоретическую наивность и социальную нечуткость попыток сводить чужую память о войне к идеологическим «мифам» и воспринимать политические «лозунги» как отражение подлинного дискурсивного и эмоционального опыта собеседников¹¹. Ни «мифов», ни клише, ни лозунгов в историях, собранных Алексиевич, нет.

«Последние свидетели» — коллекция воспоминаний о Великой Отечественной, рассказанных теми, кому в годы войны было 6—12 лет. Аннотация издательства, сопровождающая книгу, представляет «Последних свидетелей» как продолжение цикла, начатого книгой «У войны не женское лицо» (1985). Собственно, первая версия «Последних свидетелей» вышла в свет тогда же¹². Новое издание в значительной степени повторяет версию 1985 года. Однако в нем есть и принципиальные отличия. Количество воспоминаний увеличено; часть старых воспоминаний публикуется в новой — дополненной — редакции. Эти количественные отличия важны, как важна и изменившаяся тональность книги. Документальность текстов, активно подчеркнутая в издании 1985 года, отошла в нынешней версии на задний план: фотографии собеседников, придававшие первому изданию книги характер исторического свидетельства, исчезли. Исчезло и предисловие, в котором Алексиевич в 1985 году настаивала на том, что главный герой книги — «детство, которое сжигали, расстреливали, убивали»¹³.

Нет здесь и послесловия, в котором Алесь Адамович защищал право на существование «документальной прозы», в которой авторство и мастерство писателя проявляется не столько в создании новых образов и сюжетов, сколько в отборе и монтаже материала, записанного во время интервью¹⁴.

От этой утраты документальности и непосредственного контекста, на мой взгляд, основной посыл «Последних свидетелей» стал лишь сильнее. Из книги, иллюстрирующей пропущенные страницы конкретной войны, «Последние свидетели» превратились в отражение общечеловеческой трагедии. В книгу, важность которой определяется не географией и временем действия ее героев, но силой их переживаний.

Как и в предыдущих работах Алексиевич, присутствие автора в «Последних свидетелях» носит неявный — структурный — характер. Книга представляет собой череду фрагментов из интервью, связанных тематически и хронологически — от начала войны к Победе. Задавая определенную траекторию прочтения, каждое соло предваряет заголовок-цитата из самого интервью. О собеседниках Алексиевич мы знаем лишь имена (но не знаем, реальные это имена или вымышленные), их возраст (видимо, на момент начала войны) и профессиональное положение на момент интервью. В книге не поясняется, как, где и когда были собраны эти свидетельства. Читатель не узнает и об авторских вопросах, вызвавших к жизни эти голоса.

Историкам такое обезличивание «человеческих документов» наверняка покажется излишним и вряд ли оправданным. Временной контекст здесь не просто отсутствует, он сознательно стерт, вынесен за скобки, уничтожен. Антропологам подобный подход более привычен: принципиальным в данном случае является не история высказывания или биография очевидца, повлиявшие на выбор дискурсивных форм, но сами символические и сюжетные структуры, которые оказались востребованными информантом при описании его/ее исторического опыта. Ценность таких свидетельств в обнажении тех — воспользуюсь терминологией Шкловского — «первоначальных множителей», на которые разлагается общая картина¹⁵. Этих дискурсивных множителей, в общем, не так уж и много — родители, детство, смерть, пища.

Забвение собственного имени или фамилии — одно из самых частых признаний, зафиксированных Алексиевич. Немногие из ее собеседников связывают напрямую невозможность вспомнить свое имя с потерей родителей, его давших. Для многих, однако, утрата имени стала свидетельством несостоявшейся жизни, знаком отсутствия некой основополагающей, исходной точки отсчета. Новое — «ненастоящее» — имя утрату не восполнило, а лишь усилило. Одна из собеседниц вспоминает: «В нашем детдоме собралось одиннадцать Тамар... Фамилии у них были: Тамара Неизвестная, Тамара Незнакомая, Тамара Безымянная, Тамара Большая, Тамара Маленькая...» (с. 82). Последующая жизнь в итоге оказалась жизнью без родства и без начала. На поиски начала, впрочем, решались лишь единицы. Кто-то боялся узнать подробности, откладывая на десятки лет встречу с воспитателями своих детдомов (с. 164). Кто-то, узнав позднее свое «настоящее» имя, так и не смог приучить себя на него откликаться (с. 100).

Эта изначальная раздвоенность и расщепленность — до и после войны, до и после родителей — нередко заставляет собеседников Алексиевич воспринимать прожитую жизнь одновременно как «свою и не свою» (с. 264). Дистанцированность по отношению к себе, как и отсутствие следов своего прошлого, в свою очередь, лишь усиливает стремление хоть как-то материализовать следы своего существования: «В детдоме мне хотелось иметь свою, личную чашечку, чтобы она была только моя. Всегда завидовала, что у детей остаются какие-то вещи с детства. А у меня их нет, ни о чем не могу сказать: “Это у меня с детства”. А так хочется сказать, иногда даже придумать...»

(с. 246). Они и придумывали. Вынуждены были придумывать правдоподобные истории своей жизни. Еще одна воспитанница детдома вспоминает: «День рождения свой я не помнила... Сказали, что выбери сама любой день, какой хочешь... А я любила майские праздники. Но, — я думаю, — никто не поверит, если я скажу, что родилась Первого мая, и второго — не поверят, а если скажу — третьего мая, то это будет похоже на правду» (с. 228).

Фантазии и сны становились способом ухода от реальности. И способом поддержания связи с реальностью, которая стала недоступной. Одна из собеседниц Алексиевич вспоминает о том, как в течение долгого времени видела один и тот же сон — со своей мамой, зовущей ее куда-то: «Всегда один и тот же. Я хотела и... я боялась его увидеть... У меня даже фотокарточки маминой нет. Один этот сон... Я нигде больше не могу маму увидеть...» (с. 226).

Осознание детьми своей отделенности, отдельности, одиночества — одна из самых пронзительных тем в книге Алексиевич. Рассказы о выживании, как правило, начинаются с историй о смерти родителей, близких, знакомых. Точнее — с медленного осознания смысла их смерти: «А потом помню: черное небо и черный самолет. Возле шоссе лежит наша мама с раскинутыми руками. Мы просим ее встать, а она не встает. Не поднимается. Солдаты завернули маму в плащ-палатку и похоронили в песке, на том же месте. Мы кричали и просили: “Не закапывайте нашу маму в ямку. Она проснется и мы дальше пойдем”. По песку ползали какие-то большие жуки... Я не могла представить, как мама будет жить под землей с ними... Мы сидели возле маминого бугорка до ночи, пока нас не подобрали и не посадили на телегу» (с. 7).

Со временем к смерти не столько привыкают, сколько осознают разные формы ее проявления. Шок от увиденного не исчезает, однако возникает способность его дифференциации. Смерть, трупы, могилы перестают быть нерасчлененным опытом войны, постепенно приобретая свои особенности: «Сгорела вся улица. Сгорели бабушки и дедушки, и много маленьких детей, потому что они не убежали вместе со всеми, думали, их не тронут. Огонь никого не пощадил. Идешь — лежит черный труп, значит, старый человек сгорел. А увидишь издали что-то маленькое, розовое, значит, ребенок. Они лежали на углях, розовые...» (с. 16). «Когда я увидел первых повешенных наших людей, я прибежал домой: “Мама, наши люди висят в небе”. Впервые я испугался неба, у меня после этого случая изменилось отношение к небу, я стал настороженно к нему относиться» (с. 235). «В Слуцке в парке повесили две партизанские семьи. Стояли большие морозы, повешенные были такие замерзшие, что, когда их качало ветром, они звенели. Звенели, как замерзшие деревья в лесу... Звон этот...» (с. 56). «Зимой мы несколько раз катались на замерзших немецких трупах, их еще долго находили за городом. Катались, как на саночках... Могли пнуть мертвых ногой... Прыгали по ним. Мы продолжали их ненавидеть» (с. 138). «Утром пришли домой, дом стоит, а мамы нет. <...> Одни мы остались. <...> Так мы и жили несколько дней. Одни в деревне. Люди лежали или висели мертвые. Мы мертвых не боялись, это все знакомые были люди... В детдоме мне подарили оранжевое платье, с карманчиками. Так его любила, что всех просила: “Если я умру, похороните меня в этом платье”. Мама умерла, папа умер, и я скоро умру. Долго-долго ждала, когда умру» (с. 228).

Эти воспоминания поражают не только своими подробностями. Сложно представить и то, как эти образы удерживались в памяти. Как эти воспоминания находили в ней место? Как они повлияли на другие воспоминания? Как сопрягались с ними? Свидетели часто повторяют в своих рассказах: «Что лучше — вспоминать или забыть?» (с. 86). Они, конечно, лукавят, хорошо понимая, что забыть не удастся, как бы они ни старались: «Война не скоро кончилась... Считают: четыре года. Четыре года стреляли... А забывали — сколько?» (с. 257). Воспринятая вне политики и — по большому счету — вне идеологии, война «Последних свидетелей» — это война за их личное выживание. Сталин вспоминается, если не ошибаюсь, один или два раза. Молотов — раз. Все остальное — рассказы о пережитом, о невозможности избавиться — от звона замерзших трупов, от запаха дыма из крематория («...выход из лагеря был один — через трубу... сразу на небо» — с. 135) или вкуса земли, пропитавшейся селедочным рассолом, которую ели — как кашу. И политизация этого выживания, его историзация и обобществление были бы равносильны вычеркиванию, вымарыванию, уничтожению того собственного опыта, который во многом определил и статус этих свидетелей, и их память о той войне. Скорее всего, именно поэтому Алексиевич, столь чуткая к голосам и травмам своих собеседников, и не обозначает своего присутствия в тексте, предоставляя читателю возможность выносить свои оценки самостоятельно — не сливаясь с сохранными ею голосами.

Отсутствие политики в детских воспоминаниях, наверное, естественно. Как, по большому счету, ожидаемо и то, что, несмотря на всю жесткость этих воспоминаний, в них практически отсутствует знакомый по фильмам образ врага. «Фашистов» почти нет, есть «немцы» — «похожие на наших солдат, только в другой форме и веселые» (с. 28). Эти ссылки на «веселье» немцев повторяются не раз в репликах последних свидетелей. Сложно сказать, чем они вызваны — реальными воспоминаниями или потребностью подчеркнуть абсурдность происходящего. Важно другое — ощущение несоответствия между внешним образом и внутренним смыслом останется навсегда: «Вернулся с войны папа. <...> Привез красивые детские игрушки. Игрушки были немецкие. Я не могла понять, как могут быть такие красивые игрушки немецкими...» (с. 25).

Тема игрушек и немцев всплывает не раз и еще в одном — абсолютно неизвестном мне — контексте. Одна из собеседниц Алексиевич вспоминает, как ей хотелось получить от немцев красный мяч, но всякий раз, когда они появлялись в ее детдоме, воспитательница прятала ее под кровать: «Помню: лежит маленький мальчик, у него ручка с кровати свисает, а по ней кровь течет... Через две-три недели дети менялись. <...> Немецкие врачи считали, что кровь детей до пяти лет помогает скорейшему выздоровлению раненых. Обладает омолаживающим эффектом. Я теперь это знаю <...> А тогда... Мне хотелось получить красивую игрушку. Красный мячик» (с. 102)¹⁶.

Красный мячик, красная кровь — случайные совпадения? Скорее всего. Мы, наверное, никогда не узнаем, как формировались эти образы и насколько они соответствовали действительности. Да, наверное, это и не очень важно. Существенным, повторю, является не генеалогия образов, а то, как из них складывается мозаика уникальных следов войны — например, в виде тех самых игрушек, за которые платили кровью.

Голод войны — еще одна важная тема, в которой выживание, расплата и компромиссы пересеклись особенно отчетливо: «После блокады... Я знаю, что человек может есть все. Люди ели даже землю... На базарах продавали землю с разбитых и сгоревших Бадаевских продовольственных складов, особенно ценилась земля, на которую пролилось подсолнечное масло, или земля, пропитанная сгоревшим повидлом...» (с. 242). «Я помню сумасшедшую маленькую девочку, которая забиралась к кому-нибудь на огород, находила норку и сторожила возле нее мышку. Девочка тоже хотела есть. <...> Я помню ее лицо <...> Однажды... она мне... рассказала... Про мышку... Мы вместе сидели и караулили эту мышку...» (с. 19). «Не запомнила, когда мысль о том, что можно съесть свою кошку или свою собаку, стала нормальной. Обыкновенной... Мамина подруга привела нам свою собаку. <...> И если бы не собака, мы бы не выжили... Уже начали опухать от голода. <...> Собака была большая и ласковая. <...> Помню эти котлеты... Помню... В Ленинграде много памятников, но нет одного, который должен быть. О нем забыли. Это памятник блокадной собаке» (с. 271, 273).

4

«Дети войны», «дети на войне», «дети и война» — эти темы, безусловно, были прочно вписаны в советский нарратив о Великой Отечественной: от «Сына полка» Валентина Катаева до «Ивана» Владимира Богомолова. Парадоксально, но во многом именно образ ребенка позволил вывести опыт войны за пределы традиционного патриотического канона, с его темой жертвенного патриотизма. Изображая опыт войны и переживания ее участников *глазами ребенка*, советское кино второй половины XX века — будь то «Судьба человека» Сергея Бондарчука (1959), «Иваново детство» Андрея Тарковского (1962), «Подранки» Николая Губенко (1976) или «Иди и смотри» Элема Климова (1985) — санкционировало возможность уйти от непростой проблематики соотношения героизма солдат и особенностей их травматических переживаний.

Демонстрация травматизма психических переживаний войны была увязана с определенной возрастной группой. Одиночество психически травмированного человека обрело свою специфическую советскую метафору — подранков и сирот, обездоленных войной¹⁷. «Последние свидетели» Алексиевич в определенной степени продолжают традицию, заложенную советской послевоенной литературой и кинематографом. Жесткость подробностей и трагизм переживаний здесь также оправданы детским взглядом рассказчика. Временная дистанция, однако, внесла определенные коррективы. В советское время детская обездоленность нередко оказывалась своеобразным условием надежды. Например, в 1969 году детская писательница Агния Барто выпустила в свет книгу «Найти человека», в которой описала свою многолетнюю работу на радио. Используя воспоминания детей о войне, Барто искала (и находила) их родителей и родственников, потерявшихся в годы войны.

По сути, книги Барто и Алексиевич основаны на воспоминаниях одного и того же поколения детей, разделенных двадцатью годами. Однако, в отличие от «Последних свидетелей», книга Барто, составленная из писем тех, кто пережил войну, и ее собственных комментариев, поражает сегодня своим непреходящим оптимизмом. Оптимизмом людей неверующих, но во многое верящих, как это определяла сама Барто. Рассказы детей о том, как во время войны они потеряли «родных, фамилию, национальность, место и год рождения»¹⁸, в «Найти человека» заканчивались успешным обретением своих родственников и своего прошлого. Пусть не всегда, пусть лишь время от времени, но Нины Неизвестные и Анны Непомнящие у Барто находили в конце концов свои, настоящие имена.

Свидетельства Алексиевич — о том, что происходит, когда оптимизм выдохся и надежда иссякла. Ее свидетельства — и о невозможности изжить память травмы, и о невозможности заслонить ее обещанием веры. Принципиален и еще один момент. Современные дискуссии о способах мемориализации Великой Отечественной войны, возникающие периодически в российском обществе в связи с очередным юбилеем победы, традиционно концентрируются на попытках государства поставить под контроль формы публично доступной памяти о войне¹⁹. Ценность работ Алексиевич — в документированном подтверждении удивительно малой роли государства (и государственной идеологии) в кодификации индивидуальной памяти об исторической травме. *Коллективных* травм, как свидетельствует Алексиевич, не бывает. Каждый ищет слова для своей трагедии самостоятельно. Вслушиваться в эти «соло для детского голоса», собранные Алексиевич, непросто. Еще сложнее ответить на вопросы, которые обращены к читателю: «Я каждый день вспоминаю, но живу... Как я живу? Объясните мне...» (с. 273).

1) Цитата из воспоминаний Леонида Сивакова // Алексиевич С. Последние свидетели. М., 2007. С. 196.

2) См., например: Шкловский Виктор. Сентиментальное путешествие: Воспоминания 1917—1922 // Шкловский В. «Еще ничего не кончилось...». М.: Пропаганда, 2002. С. 43.

3) Merridale Catherine. Ivan's war: Life and Death in the Red Army, 1939—1945. N.Y.: Picador, 2006. P. 7.

4) См.: Herman Judith Lewis. Trauma and recovery: The aftermath of violence — from domestic abuse to political terror. N.Y.: BasicBooks, 1992. P. 70.

5) Жембровский Александр. Из боевого журнала // Мы были на этих войнах: Свидетельства участников событий 1989—2000 гг. / Под ред. Я. Гордина и В. Григорьева. М.: Звезда, 2003. С. 235.

6) *Anisfield Nancy*. Words and Fragments: Narrative Style in Vietnam War Novels // Search and Clear: Critical Responses to Selected Literature and Films of the Vietnam War / Ed. William Searle. Bowling Green, Ohio, 1988. P. 56—61. См. также подборку материалов в «Journal of American Culture», посвященном поэзии ветеранов вьетнамской войны (1993. Vol. 16 (3)): *Bibby Michael*. Fragging the Chains of Command: GI Resistance Poetry and Mutilation (P. 29—39); *Gotera Vince*. The Fragging of Language: D.F. Brown's Vietnam War Poetry (P. 39—45); *Hidalgo Stephen*. Agendas for Vietnam War Poetry: Reading the War as Art, History, Therapy, and Politics (P. 5—13).

7) См., например: *Kitfield James*. Prodigal Soldier. N.Y.: Simon & Schuster, 1995. P. 121. Мерридейл и Алексиевич в своих исследованиях Великой Отечественной и афганской войн соответственно приводят сходные примеры (см.: *Merridale C*. Ivan's war. P. 192; *Alexievich Svetlana*. Zinky Boys: Soviet Voices from the Afghanistan War / Trans. Julia and Robin Whitby. N.Y.: Norton, 1992. P. 41).

8) См., например: *Tatum James*. The mourner's song: War and remembrance from the Iliad to Vietnam. Chicago: University of Chicago Press, 2004. P. 122.

9) Краткий обзор этих тенденций в зарубежной литературе см., например, в: *Sinor Jennifer*. Inscribing ordinary trauma in the diary of a military child // Biography. 2003. Vol. 26 (3). P. 405—427. См. также: Блокадные дневники и документы. СПб.: Европейский дом, 2004, и специальный выпуск журнала «Неприкосновенный запас» (2005. № 2/3), посвященный памяти о войне.

10) См.: *Merridale C*. Ivan's war. P. 48.

11) См., например: *Ханаева Дина*. Очарованные сталинизмом: массовое историческое сознание в преддверии выборов // Неприкосновенный запас. 2007. № 5 (55) (<http://magazines.russ.ru/nz/2007/55/ha6.html>).

12) См.: *Алексиевич С*. Последние свидетели: Книга детских рассказов. М.: Молодая гвардия, 1985.

13) Там же. С. 7.

14) *Адамович А*. Послесловие // Там же. С. 167.

15) *Шкловский В*. Сентиментальное путешествие. С. 115.

16) См. подробнее: Страшная тайна детского концлагеря // Программа «Итоги». НТВ, 11 апреля 2008 г. <http://news.ntv.ru/itogi/130155/>.

17) См. подробнее: *Барабан Елена*. Война в кино: Одиночество травмы на фоне коллектива // Травма: Пункты / Ред.-сост. Сергей Ушакин и Елена Трубина. М.: НЛЮ (в печати).

18) *Барто А*. Найти человека. М.: Советский писатель, 1969. С. 274.

19) См., например, специальный выпуск журнала «Неприкосновенный запас»: «Память о войне 60 лет спустя — Россия, Германия, Европа» (2005. № 2/3).

Copyright

© Издательский дом "Новое литературное обозрение"

Дизайн - Дм.Черногаев

Разработка - агентство "Счастье"